

## Оксана

Сидим со стариком на крыльце: он курит трубку, я — папиросу. Предложил ему — отказался, видите ли, привкус не по нраву. Не пойму, то ли меня задеть пытается, то ли упрямится просто... Ну и ладно, кто к чему привык.

Ближе к вечеру небо зарделось до самого горизонта. Похоже, погода завтра испортится. Сейчас тепло, ветра не слышно, и комаров уже нет. А воздух какой! Смело зачерпни его ковшиком и выпей большими глотками. Случаются такие дни, когда осень встаёт против лета, и они, как пыльные дуэлянты, не желают друг другу уступать. Урожай с полей уже собран, огороды опустошены и только на стебле подсолнуха тихо шелестят сухие листочки. В такую-то пору иначе смотришь на то, что ещё вчера казалось привычным и таким незыблемым. Так что совсем не хочется уезжать. Я глянул на угрюмого старика и, сам того не ожидая, сказал:

— Интересная штука эта жизнь! Как бы ни тосковал человек по родине, а всё равно с годами ко всему привыкает...

Старик ответил не сразу, но докурив, он задумчиво постучал об носок кирзового сапога трубкой и набил её свежим табаком. Закурить — не закурил...

— Ну да, ну да, «привыкает». На своей шкуре ещё не испытал, вот и болтаешь. С виду-то, может, и смирился, а на душе кошки скребутся. Почём тебе знать? От тоски так просто не избавишься: женишься, деток родишь, помирать пойдёшь, а она, родненькая, всё рядом будет. Вот, из нашей-то деревни сколько уже уехало: кто с семьёй, кто в одиночку, этот на целину, а тот в Ростов к пшеничным

хлебам. Легко ли дело? Потому и приезжают повидаться. Понаедут и давай хвалиться: у нас там так и эдак, а как уезжать — ни звука, замолкают. На чужбине, может, одними пряниками да конфетами кормят, но дома-то и ржаной хлеб вкусный!

Старик лукаво прищурился: мол, интересно, что на это скажешь? Ну, я и решил из вредности промолчать. Похоже, это ему не понравилось.

— Гляжу, не веришь? Тогда слушай. Я сказки рассказывать не привык — как было, так и расскажу. Слыхал ли ты про Бечей Онтон? Хотя откуда тебе... нынче люди и из соседних деревень друг друга не знают.

Так вот, под самый конец войны призвали его на фронт. Мать совсем одна осталась. Хворая была, можно сказать, едва на ладан дышала. К счастью, война скоро закончилась и выжившие домой воротились. От Онтон — ни весточки. Похоронку мать не получала, и фронтовики ничего о нём не ведали. У матери, понятно, глаза днём и ночью в слезах. А девчонки местные повздыхали-повздыхали об нём, да и позабыли. Чего тут скажешь, завидный был жених! Нынче и не встретишь такого: высокий, стройный, как свеча, косая сажень в плечах. Брови чёрные вразлёт, а как взглянет на девку, так пиши — пропала. Шаг у него лёгкий, будто по воздуху ступал. Среди молодёжи в округе слыл первым танцором (сам не видал, по разговорам знаю). Поэтому-то девушки его и ждали: хоть одну, да осчастливил бы. Всю жизнь бобылём ходить не будет. Но Онтон не вернулся...

Год прошёл, второй, и мать уже всякую надежду схоронила. Тут-то по деревне и пронеслось, что вроде как Онтон вернулся, да не один, а с женой. Чудеса, да и только! Тогда мало кто к Бечейам не заглядывал. Всем же любопытно поглядеть на воскресшего... Онтон-то за эти годы возмужал, даже усы отрастил. Здоровый парень, жилистый. Сидит за столом на хозяйском месте, со всеми разговор

ведёт, улыбаиц-ца. Зубы-то у него белые, ровные, прямо удивлялись все. Мать, конечно, не знает, куда и деться от нечаянной радости, вьётся вокруг сына, отойти не смеет: боится, видать, как бы снова не пропал... Возле стола, у самой перегородки, сидит на сундуке так называемая жена Онтона. Одета не по-нашему и на лицо — другая. Женщины уже разузнали: с Украины, мол, хохлушка она. Так и утопли последние надежды на молодого жениха.

Ох, чуть не забыл. Люди, конечно, расспрашивали Онтон, где пропадал, почему не давал о себе знать. Он в ответ улыбается: куда, говорит, меня только не заносило, где я только не был. Год прожил в деревне Оксаны. Та по-удмуртски не понимает, всё смотрит на мужа и тоже улыбается. Ну, думаем, и скотина же этот Онтон! Мать все глаза чуть не выплакала, пока сынок под бабий подол заглядывал. Хоть бы письмо прислал: так, мол, и так, мама, жив-здоров, не волнуйся, скоро вернусь. Я бы на месте матери в лицо ему плюнул, а она... Видно, нет предела материнской любви.

Сплетни быстро улеглись, не до Онтон было — разруха кругом. Кому жизнь-то налаживать? Вот Онтон и пошёл в плотники. Руки у парня золотые, а плотник в колхозе, почитай, первый человек. Днём он работает вместе со всеми, вечером — хозяйство ведёт или же мастерит чего на продажу: наличники, столы, стулья... Не знаю, то ли Онтон жену надоумил, то ли Оксана сама решила в колхоз пойти. Во время уборки сортировала зерно. Сноровистая была, видать, крестьянской закваски девка.

На работе-то много не поболтаешь, если только на перекурах. Сядем, бывало, отдохнуть, а Оксана поодаль держится. Женщины кличут: «Оксинья, иди к нам, вместе веселее!» Она им смущённо улыбается. Головой покачивает, отвечает: «Дьякую, дьякую».

Так во-от... Онтон с Оксаной в любви да согласии жили, это все видели. Если идут куда после работы, то всегда

вместе, как ягнятки одноплодные. В такой же тёплый, как сегодня, вечер выйдут они, бывало, за огород, усядутся под черёмухой и поют — один другого краше. На их звонкие голоса люди со всей деревни сбегались. Бывало, обопрутся на забор и слушают. Плакали наши бабоньки: уж больно тоскливые эти украинские песни, аж сердце кровью обливается. Каждая о своём вспоминает: у одной муж с войны не вернулся, у другой — сын или брат. Грустные песни во всяком сердце рану найдут. Наверно, украинцы поют и весёлые песни, но Оксана почему-то всегда затягивала печальные: запевала протяжно, Онтон подхватывал. О чём поют — да Бог его знает, только «мамо, мамо» и понятно. Мы понимали — по маме тоскует. Видать, так оно и было...

Наш язык Оксана так и не выучила. То ли не получилось, то ли ещё чего. С Онтоном только и общалась. Подсела она как-то к женщинам, говорить пыталась, а те плечами пожимают: «Не понимаем мы тебя, Оксинья! Раз уж издали приехала, так по-нашему учись разговаривать». Глазищи-то у неё большие, знаешь, как чёрная смородина после дождя блестят. Смотрит она на них пристально, бровки изящно приподнимает, да всё повторяет: «Дьякую, дьякую».

С осенними дождями увяла Оксана, согнулась, как цветок от первых заморозков. Петь перестала, на улицу почти не выходила, да и на работе не появлялась. Поговаривали, простыла она, с лёгкими мучилась. Зимой мы её и вовсе не видали. В самый мороз и нашим-то не сладко приходится, а у Оксаны, говорят, на родине снег едва выпадет — сразу растает. Она, бедная, и не поняла, куда приехала за Онтоном своим: не зря говорят, ради любимого и Каму переплывёшь. А ей-то не одну реку переплыть пришлось. Загрустила девка к зиме, затосковала! Нам-то нипочём: подумаешь, девять месяцев зима, а там глядишь, и лето придёт.

С первой проталинкой Оксана расцвела, похорошела, на щеках румянец заиграл. Только взгляд у неё переме-

нился, будто тяжесть какая на сердце легла. Засадила она пол-огорода подсолнухами — все взошли, даже картофельную ботву заслонили. Я слышал, на Украине все поля в подсолнухах.

Тем летом они с Онтоном уже не пели. Сказать, что поругались? Не слышали вроде. Только бабоньки меж собой судачили: «Оксанка-то, слыхала я, Онтона обратно к себе зовёт, на родину хочет ехать. Тот не соглашается, мол, мать старая, да и хозяйство не на кого оставить». Бог его знает, может, так оно и было: ветер не дунет, ветка не качнётся. Оттого, видно, Оксана приунывшая и ходила. Гляжу как-то: идёт она по улице и головы не поднимает, будто потеряла чего...

Всё лето Оксана проработала в колхозе. Работала исправно, во всяком случае, никто не жаловался. То-то и говорю, привыкшая она к крестьянскому труду. Всему обучена: и полевым работам, и рукоделию. Глядя на Оксану, деревенские девчонки тоже цветы стали вышивать на платьях, плести косу вокруг головы и украшать её цветами. Вот та-ак...

Дело шло к осени. Таких подсолнухов, как у Оксаны, не было ни у кого в деревне. Шляпки огромные, со сковороду! Диву давались, что Оксана с этими подсолнухами делать-то собирается. Она же все семечки собрала, засушила, и по воскресеньям стала ходить на базар в Акташ, что за семь вёрст от нашей деревни. Народу пруд пруди, и на семечки покупатели найдутся. Поговаривали, что в день она чуть ли не полмешка продавала. Мы только руками разводили: «Девка-то не ленится, из плевка деньги делает!» Да не тут-то было, сынок. Чего на самом деле Оксана удумала, мы только потом поняли. Даже Онтон не сразу догадался, а когда догадался — было уже поздно. Он, видимо, решил: Оксана для семьи старается, значит, сердцем прикипела и об отъезде не думает. Может, и Оксана уверяла его, что

лишняя копейка им не помешает. Хотя, не знаю, сам не видел. Кукушка покукует-покукует, да как захочет, так и сделает...

Онтон всё лето пропадал на стройке, к тому времени он уже бригадиром был. К осени решили построить новую конюшню. Лес выписали за тридцать вёрст, и Онтону отправили туда принимать делянку. Ох, и не хотел парень ехать, может, тогда уже чуял неладное. Но как ни старался, отказаться не смог.

Дома у нас наискосок, вот я из окна всё и видел. Проводила Оксана его за ворота, повисла на шее и не отпускает. Экая невидаль, ишь удумала, девка! У других мужья и на месяц уезжают, но жёны их так не провожают. Пока Онтон не исчез из виду, Оксана стояла на цыпочках и высматривала его вдаль: руками-то всё машет, кажется, вот-вот сама за ним полетит. Но, оказалось, душа её рвалась совсем в другую сторону...

На другой вечер соседи заметили, как Оксана на колхозной машине поехала в Акташ. В руках — только узелок небольшой. Решили, что снова семечки поехала продавать. Чего уж тут, пускай ездит, коли надо. А через день-то после этого Онтон вернулся. Дома считай и не был: только зашёл, пулей вылетел. Даже переодеться не успел. На лошадь вскочил и к Акташу. Сказывали, глаза у него, как у дьявола, сверкали, будто вовсе обезумел.

Онтон вернулся лишь спустя несколько суток. Щёки впали, руки болезненно тряслись, как будто неделю ни крошка хлеба не съел. Ни с кем разговаривать не захотел, сразу ушёл домой, даже лошадь распрягать не стал. От него тогда несколько дней ни слуху ни духу не было.

Как известно, народ всё разужнает — ничего не утаишь. Оксана тогда с Онтоном расставалась навсегда, оттого она так слёзно его провожала. Матери Онтону ни слова не сказала, взяла необходимые вещи и уехала. В Акташе поймала

попутку и рванула на станцию, а оттуда, известно, села на поезд и с концами. Поезд домчит, куда надо. Онтон тоже приезжал на станцию, да поздно, разве поезд обгонишь. Он рвался-метался, может, успеет ещё. Только поезд-то уехал ещё шесть часов назад. Ладно, хоть сам под поезд не бросился. В помешанном состоянии чего только не учудишь. Так вот уехала от нас Оксана...

Мы только потом поняли, зачем Оксана садила подсолнухи. Она деньги копила на дорогу. Вот так вот, сынок! Надо ведь до такого додуматься? Онтону тоже, наверно, и в голову не приходило. Однако Оксанка для себя всё решила. Раз Онтон не захотел ехать с ней, то она сделала по-своему. Понимала девка, что одну он её не отпустит и денег на дорогу не даст. Тяжко ей здесь приходилось — тосковала по дому. Скучающее сердце разве остановишь. Вот тебе и подсолнухи! Через некоторое время от Оксаны пришла телеграмма: «Онтон, зла на меня не держи за то, что уехала не попрощавшись. Не могла я по-другому поступить. Но я по-прежнему тебя люблю. Если решишься ко мне приехать — приезжай. Я буду ждать. Меня не жди. Не могу я напополам разделиться». Это мы уже от почтальона узнали.

Такая вот история, сынок. А ты говоришь: «Человек везде привыкает жить!». Нет, не привыкает, просто смиряется. Только сердце не обманешь, заноза-то ноет. Заноза эта — тоска по дому. Ну как? Всякие есть, наверно. Кому-то и печка сгодится. Ты его туда посади да держи, он тебе ещё благодарен будет. Оксана другой оказалась. Мужа она очень любила, но не смогла на чужбине жить. Онтон жену не меньше любил, однако не уехал, с матерью остался. Так-то вот, сынок...

Когда солнце скрылось за горизонтом, стало зябко, и по спине пробежали неприятные мурашки. Тихо в деревне, только с полей доносится приглушённый рёв трактора — начинается зяблевая вспашка. Колхозники готовят

почву к весне под посев яровых культур. Звук тарахтящего двигателя то приближается, то совсем исчезает. Вечерний воздух скрывает лёгкое волнение, когда тепло уходящего дня постепенно сливается с ночной прохладой. На окраине деревни девушки устроили игрище. В разгар веселья они запели. Слова песен я слышал отчётливо, хоть и сидел довольно таки далеко:

Звала, звала, не отозвался,  
Да мимо девицы прошёл...

Это песня древняя, как мир: о женихах, о любви.

Поднявшись, старик уже собирался уйти, когда я задал ему вопрос:

— А Онтон, где он сейчас?

— Онтон-то? Онтон уже нет... После того случая с Оксаной схоронил мать: старая была, болела много. Да и сам он недолго прожил. Такой видный парень быстро истощал, осунулся, скрючился весь, как молодое деревце после грозы, смотреть больно. Кровью закашлял — оказалось, чахотка. Так вместе с Онтоном и не стало рода Бечей... Что-то зябко мне, давай-ка в дом зайдём. Пойдём-пойдём, сынок. Всех слов не перескажешь...

Когда мы только вошли в дом, до нас ещё доносились звуки старинных песен:

Ищи, не ищи, а вряд ли полюбишь  
Кого-то сильнее меня...

В такие вот вечера Оксана с Онтоном и пели, наверное.

1971

**Перевели Софья Князева и Луиза Зарипова.**